

Смириться можно со многим, но вот две вещи я не переношу: плохой кофе и человеческую подлость. Знаю-знаю, явление отдаёт дешевой — так ведь и картошка не перестаёт быть истинной ценностью, несмотря на низкую цену.

Здесь кофе как раз хорош; я не зря хожу именно сюда. Когда я пригласил Настю, она улыбнулась, сделав первый глоток: «В кофе мне запах нравится больше, чем вкус». Думаю, в тот раз ей было и не до запаха, и не до вкуса — воспоминания настолько сволочная штука, что застят нам порой и звуки, и запахи, и весь белый свет, представляя мир китайским рисунком тушью, без перспективы и разнообразия цветов.

Начинать рассказывать нужно с начала — начало было не здесь, а в большом волжском городе, упомянутом, конечно, в русской литературе, где и родилась и выросла Настя — синие глаза, негромкий голос, обожала стихи Блока, немного вязала, немного рисовала акварелью; в беспредельной нашей России десятки тысяч таких девушек, и каждая из них несчастлива по-своему.

Может, я и жесток. Хотя нет — я всего лишь честен. От русской девушки ожидается, что она будет страдать и героически, это воспевают вся великая литература. «Доля ты! — русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать». Их в детстве уже приучают, что право на счастье — непопулярная роскошь. Эх! Будь я старше лет на десять — может, получилось бы что-то объяснить, уберечь? Нет, не получилось бы. Я сам до мыслей о праве на счастье не так давно додумался. Судьба — хороший учитель, но сколько людей домашние задания у соседа по парте скатывают.

Впрочем — хватит умствований. Я о Насте. Она ничем особым не выделялась; всегда приветлива, родители и учителя довольны, хорошо училась в школе, мамина радость, папина гордость, будущему мужу помощница. Её будущему мужу стоило бы свернуть себе шею до того, как он приехал в её город, хотя судьба не только хороший учитель, но и очень злой шутник.

Она заканчивала четвёртый курс пединститута, когда их познакомили Сергачёвы, друзья Настинных родителей: служит далеко, приехал в отпуск к родне. Молчаливый капитан с красивой ранней проседью Насте понравился — чувствовалось

в нём тайное горе, тщательно скрываемое; на тайном горе русской женщине поймать скорей всего. Родители рассказали: у капитана Первалова пять лет назад умерла при родах жена, потому он такой невесёлый. Настина душа рванулась навстречу — согреть, понять. Они гуляли вечерами по набережной, смотрели на огни на пристани, Первалов каждый раз деликатно спрашивал разрешения закурить и был так непохож на Настинных ровесников — шумных и неумно шутивших. С ним она, немногословная, вдруг стала разговорчивой — он больше слушал, как она рассказывала о книгах и снах. После прогулок провожал до самой квартиры, целовал на прощание руку — Настино сердце падало в пятки от восторга, — раскланивался с Настинным отцом и уходил в темноту, чётко печатая шаги. Она долго не могла заснуть, вспоминала их неспешную прогулку, рассматривала в полутьме ладонь, которую он недавно поцеловал, и лицо пылало, становилось тяжело дышать от счастья.

Отпуск закончился, капитан отбыл в свою часть, писал раз в неделю нежные письма; Настя удивлялась, как он, сдержанный в жизни, может так передавать на бумаге свои чувства. Никто не сказал ей, что черновики пишет срочник — студент-филолог, которому портить отношения с капитаном резону не было никакого.

Настя ходила шальная от радости. Родители этот военно-эпистолярный роман одобряли: мужчина серьёзный, не мальчишка, знает жизнь, сможет защитить не только Родину, но и жену. На Новый год Первалов приехал снова и официально просил у Настинных родителей её руки. Мама сияла: вот как надо! Папа был доволен: всё как у людей. Свадьбу назначили на июль — сначала всё же диплом, потом свадьба. В загсе договоримся, сказал папа, главный инженер завода и вообще человек в городе уважаемый.

Вы верите в предчувствия? Я — верю. Не знаю, верила ли Настя, но за месяц до свадьбы она вдруг загрустила, потускнела. Говорила, что снятся ей странные сны. Попросила родителей отложить свадьбу на год — те почти по потолку прошлись от возмущения: ты что делаешь, человеку голову морочить, тебе уже двадцать один, не девчонка, умеи отвечать за свои решения. Настя не любила споров и ссор, согласилась с родителями.

Потом было прощание: пишете, как доберётесь, доченька, помни, в семейной жизни муж голова, а жена шея, будь мудрой, лучше иногда промолчать, но мир сохранить, вот посмотри на нас с папой, уже скоро серебряную свадьбу будем праздновать.

Приехали: военный городок при части — баня, медпункт, магазинчик, клуб, при нём библиотека. Даже в школу дети ездили в ближайший райцентр, а это тридцать километров. Два раза в неделю кино в клубе. Сопки до горизонта — вот и весь мир; ощущение, что за ними ничего и нет, конец ойкумены. Работы для Насти, конечно, никакой не нашлось — все должности давно уже расхватили другие офицерские жёны. Она раскладывала салфеточки и коврики в казённой квартире, варила супы и компоты, храбрилась в письмах родителям: тут красиво, люди замечательные, я так счастлива.

Медовый месяц окончился враз возвращением мужа пьяным в дымину, в лоскуты. Еле ввалился домой, кричал страшное — что знает, как жена строит глазки молодым лейтенантикам, что зря он женился на такой балованной городской фи-фе, которая думает только о нарядах, вон одних платьев целых пять штук, наши матери разве так жили? Настя побежала к соседке, глотала у неё на кухне слёзы и корвалол, растерянная, униженная.

Пьёт он, конечно, а кто тут не пьёт, говорила соседка Лида. Была она старше Насти на десять лет, помotalась с мужем по отдалённым гарнизонам предостаточно, навидалась ещё больше — Настя слушала её с жадным ужасом: разве она могла предположить такое?

Наутро муж пробурчал невнятные извинения: прости, Настён, на службе проблемы. Проблемами был солдатик, который повесился в уборной, и это уже второй случай такой за год. Начальство мылило шею мужу, тот отрывался на Насте — теперь уже не только орал. Извинений тоже больше не было: его довели, а Настя только добывает. Пришлось учиться замазывать синяки кремом «Балет», эти оранжевые пятна совсем дико выглядели на тонкой и белой Настиной коже. Муж теперь каждый раз кричал пьяный: первая жена его так любила, что решила рожать, хоть врачи не советовали, вот и умерла, а Настя даже забеременеть не может, взял сдуру яловую бабу, позор один.

Написала родителям письмо: умоляла о помощи, присла совета. Ответ пришёл на удивление скоро, написанный маминим округлым учительским почерком под папину диктовку. Родители очень огорчены Настиным эгоизмом: у мужа трудности, а она не хочет его понять, любовь — это совместно переносить беды, а вовсе не вздохи на скамейке и не свиданья при луне. Как раз сейчас, когда пишут столько плохого про нашу армию, нужно быть помощницей мужу, соратницей, подставить плечо, промолчать, не заметить. В семейной жизни всякое

бывает — но в конфликтах всегда виноваты двое. Начни с себя, тогда и жизнь наладится.

Опустив родительское письмо на колени, Настя долго смотрела на багровый закат: было чувство, что захлопывается какая-то тяжёлая дверь, и выхода нет, и позвать на помощь некого. Дома муж привычно орал, что она совсем подурнела, не на такой он женился; а у неё и правда под глазами легли тёмные круги, не слишком густая коса стала редеть. Соседка Лида жалела её, укрывала, когда Перевалов буйствовал особо, подкармливала — при муже Насте кусок в горло не шёл, а однажды сказала полушёпотом: уезжай отсюда, не будет тебе с ним жизни. И совсем уже шёпотом на ухо — о том, что Перевалов избил первую жену, когда та была на восьмом месяце, начались преждевременные роды, ребёнок шёл ножками вперёд, и нужно было кесарить, везти в райцентр, но пока нашли машину, пока довезли, пока что — родила она мёртвого ребёнка и сама умерла от потери крови. Только не говори ему, добавила Лида, а то сама понимаешь.

Ночью Настя слушала пьяный храп мужа, тряслась от беззвучных слёз и впервые в жизни — атеистка, комсомолка — взмолилась к Богу: если Ты есть, помоги хоть Ты мне! Слабый проблеск появился почти сразу: пробивная Лида пристроила её библиотекаршей в клуб, там хоть были книги, люди, какая-то жизнь. Муж всё равно был недоволен: лишь бы мужикам улыбаться! Хотя улыбаться Настя перестала вообще — так, иногда губы растягивала, когда было совсем уж неуместно не улыбнуться. Но здесь, на работе, можно было делать то, что она любила больше всего, — читать и говорить о книгах с теми, кто приходил в библиотеку. И другой проблеск там появился и показался Насте даже озарением: в библиотеку заглянул красивый лейтенант Женя. Он был родом из Ленинграда, из *хорошей семьи* со связями, племянник генерала, а в это захоlustье попал за какой-то большой скандал на службе — всё равно дальше Кушки не сошлют, меньше взвода не дадут. Женя стал заходить каждый день: на фоне местных тётки с их зычными голосами, пергидрольными кудрями и вьетнамскими кофточками тихая бледная Настя выглядела как принцесса Грёза, как лесная фиалка в зарослях крапивы. Она вдруг поймала себя на том, что думает о Жене постоянно. А потом, когда муж был на стрельбах, Женя пригласил её пройтись тёмным вечером, властно поцеловал и сказал: ты для меня единственная, давай уедем вместе, я скоро вернусь в Ленинград, дядя мне всё устроит. И Насте показалось: вот оно, меня услышали. Теперь ей было легче переносить побои и крики: уворачиваясь от кулаков мужа, она думала о том дне, когда всё будет позади, и считала часы до побега. Отпросилась в райцентр с Лидой — Перевалов ту не любил, но побаивался. Обратная Лида вернулась уже одна, привезла прощальное

письмо от Насти, сказав: сам виноват, жена не боксёрская груша.

Дальше был Ленинград. Настя вдыхала балтийский ветер—теперь начнётся новая жизнь, настоящая. Женья пока поселил её в пустой квартире друзей, разумно заметив, что сначала нужно вообще-то с первым мужем развестись, не может же он приводить к своим родителям замужнюю женщину и говорить, что это его избранница. Настя радостно соглашалась с каждым словом—кругом была нереальная после Забайкалья жизнь, стройные и хорошо подкрашенные женщины, красота, дворцы и мосты, и каждый вечер любимый Женья приходил к ней: что ещё нужно для счастья? Но шли недели, Женья всё чаще не мог прийти, всё более хмурый и сухим становился, пока не сказал: прости, всё это было ошибкой, давай расстанемся друзьями. И вот тогда Настя почувствовала, что летит в бездну—такого не было даже при побоях мужа. Пойми, внушал ей Женья, я погорячился, мне всё же нужна другая, не такая, как ты,—ты же мне только тормозить всё будешь, а для мужчины карьера важнее всего. Настя плакала: куда я пойду? Ну, не знаю, вот тебе деньги, поезжай к родителям, как-нибудь устроишь, ты же взрослый человек, я не должен быть тебе нянькой!

На Университетской набережной Настя села у самой воды и уронила лицо в колени. Ленинград был чужим, а Нева холодной. «Ленинград, я ещё не хочу умирать, у меня телефонов твоих номера...» Никаких номеров у Насти не было, и идти было некуда. На письмо о том, что она уехала с Женей, ей пришёл грозный ответ от родителей: ты нас опозорила, ты нам больше не дочь. На дворе стоял девятый первый год, всё летело в тартарары, а Настя получила родительское проклятие.

Она побрела куда ноги несли—возле кооперативного кафе на Литейном почувствовала, что её шатает от слабости, зашла съесть пирожок и выпить сладкой бурды, которая здесь называлась «кофе». Упёрлась взглядом в листок на стене: «Нужна пасудамойка». И тут же, не раздумывая, пошла спрашивать. Она действовала будто не сама—её словно кто-то двигал, кто-то за неё договаривался с мохнатым дагестанцем, хозяином кафе, кто-то вёл к Пяти Углам в комнатку в коммуналке, где полы в последний раз мыли по случаю снятия блокады. Засыпая в ту ночь на колючем диване, Настя подумала, что просьбы наши небо воспринимает по-своему, в её случае—так, но спасибо всё равно.

Тенью она скользила по Ленинграду, которому уже недолго было носить это имя,—шла пешком на работу, мыла чашки и тарелки десять часов подряд, пешком же возвращалась, падала замертво в постель, и это было хорошо: не оставалось сил ни думать, ни плакать. Этот город не обманул, оказался истинно блоковским: улицы заносило

чёрным снегом, вихрились смерчи истории, Настя ощущала кожей—рушащиеся миры, свист ветра как рыдание скрипки, Беатриче у кабацкой стойки. «В соседнем доме окна желты». В кафе собирались *порешать вопросы* деловые люди, бывали разборки, однажды Настя услышала сухой треск выстрелов, а потом хозяин, пряча глаза, неожиданно ласково попросил: «Помой пол в зале, только тебе доверить могу». Она замывала кровящу, ползая с тряпкой на коленях, собирала осколки посуды, под столиком нашла пачку денег. Не раздумывая, сунула под джемпер и продолжила мыть пол. Идя домой, говорила себе: господи, это всё со мной творится, я—учитель русского языка, я жена советского офицера, ну хорошо, бывшая жена, но всё равно,—и я ползаю на коленях, отмывая чью-то кровь, я присвоила чьи-то деньги; неужели это всё со мной, господи? И тут же себе отвечала: уже совсем зима, нужна тёплая куртка, нужны сапоги, те деньги покойнику не помогут, помогать нужно живым. Ноги больше не леденели в осенних ботинках, и это убеждало больше тысяч слов. Главное было—тепло и сытость. Остальное потом: неизвестно, доживём ли до остального. До огненной весны было очень далеко.

Потом судьба сделала очередной вираж: на Литейном Настя столкнулась нос к носу с Ритой—когда-то они учились в одном классе, а потом Рита уехала в Ленинград поступать в театральный. В театральном оказался слишком высокий конкурс, а талант у Риты был небольшой, и она, чтобы не давать повода к злорадству в родном городе, осталась в Ленинграде, несколько лет с успехом промышляла под именем Марго в гостинице «Прибалтийская», пока не осуществила хрустальную мечту всех её товаров—вышла замуж за очень упакованного мужчину: совместное предпринятие, крутил дела, делал всё о её занятиях, но неожиданно влюбился, как цуцик, и пал к ногам Марго. Она была совсем неглупа, понимала, что другого шанса не будет: снова назвалась Ритой и стала примерной женой, вся в заботах о муже и доме, никто слова плохого не скажет. Родились девочки-двойняшки, им шёл третий год, Рита отчаянно искала няню: все приходившие претендентки тут же начинали смотреть *особенно* на Игоря Ивановича, мужа и отца, а Рита опытным взглядом конкуренток отсекала за версту. Тихая Настя, одетая в серые обноски, опасной не была, зато имела диплом педагога. Так она стала няней для Ритиных дочек.

Теперь страх перед жизнью почти исчез—она отоспалась, порозовела, Рита щедро одаривала её надоевшими платьями со своего плеча, можно было присесть среди дня без опаски получить окрик: «Нечего тут, работай иди!» Утром в зеркале она всё чаще видела, что снова хороша собой—а потом это увидела не только она.

Николай был у Игоря Ивановича личным шофёром. После службы в горячей точке никуда особо на работу не брали — это был негласный указ, но повезло: когда-то Игорь Иванович знал покойных родителей Николая, знал давно и хорошо, и решил, что вернее выбора быть не может. Он не ошибся: Николай стал и шофёром, и доверенным лицом, и телохранителем — худой, крепкий, молчаливый. В редкие свободные часы они с Настей бродили по городу: он показывал ей Питер не парадный и не пугающий — свой, привычный. Вот тут мы с мальчишками в хоккей играли, вот тут самые вкусные пышки были, в этой парадной я впервые портвейн попробовал. Настя слушала благодарно — она уже не помнила, когда в последний раз с ней говорили вот так, на равных, по-человечески. Они были как Гензель и Гретель, заблудившиеся в лесу, где подстерегала гибель, но шли и шли, ища дорожку по разбросанным раньше камешкам памяти, шли, иногда держась за руки, иногда просто радуясь тому, что живы.

Рита почувствовала что-то раньше их самих. Ничего не было — только взгляды, только желание поговорить подольше, об ином они пока что и помыслить боялись, и вышло, что именно хозяйка подтолкнула их друг к другу. Волчье чутьё проститутки её не подвело; выгнув тонко выщипанные брови, Марго орала так, что стены тряслись: она не позволит в своём доме, прислуга не имеет права на личную жизнь, их не для этого кормят, сейчас же выкатывайтесь, вы тут больше не работаете. Прислуга, удивлённо думала Настя, укладывая вещички. Рита была из многодетной семьи, отец-фрезеровщик пил запоями, и Ритина мать бегала к Настиному отцу, умоляя, чтобы не увольняли «по статье»: пятеро детей, как жить тогда? Рита вырвалась, выгрызла своё место под солнцем и не оставляла на него права другим: сдохни ты сегодня, а я — завтра. Игорь Иванович умолял супругу успокоиться — бесполезно: чёрт ли сладит с бабой гневной?

Теперь у Насти не было работы, но был Николай. Он сказал просто: поженимся, всё устроится. Отсугупных от Игоря Ивановича пока на жизнь хватало, они тихо расписались. Жильё есть, а на остальное заработаю, сказал муж и уехал зарабатывать. Настя сделала ремонт на кухне, вымыла до скрипа все окна, наточила ножи и заскучала. Сидеть дома, читать книжки и ждать мужа было нелегко — она отправилась в офис к Игорю Ивановичу, точно зная, что в это время Рита будет у парикмахера. Да я всё понимаю, говорил тот сочувственно, ерунда какая-то, у меня претензий не было, ну вот Риточка очень нервная, а я никак не могу на неё повлиять («Денег бы её лишил, сразу бы успокоилась», — подумала мрачно Настя), тебе — конечно, помогу, только никому ни слова, а то, сама понимаешь, Рита будет нервничать,

она у меня такая чувствительная. Игорь Иванович действительно помог, поговорил с кем надо, и через две недели Настя вошла в класс частного лица: здравствуйте, я ваш новый учитель русского языка.

Вернувшийся из рейса Николай удивился, но хмыкнул довольно: жена счастлива, что ещё нужно? Сказал же, что всё устроится, — вот оно и устроилось.

Счастье и правда многолико: людям чистым и твёрдым, как алмаз, для счастья порой только и нужно, что луч света. Такой была Настя — умела стать счастливой от малого. Может показаться, что я слишком много о ней говорю и даже переоцениваю. Имею право: она моя сестра, старшая и любимая. Сколько себя помню — это она была рядом со мной. Учила меня читать и завязывать шнурки, делала со мной уроки, мазала зелёной сбитые коленки, надавала затрещин Голубцову из восьмого класса, который издевался над нами, первоклашками, — а сама была меньше его на голову и такая худенькая. Когда она уезжала от нас с первым мужем, будь тот неладен, я плакал ночью под одеялом — никто не должен видеть слёз мужчины, пусть и тринадцатилетнего. Я как-то дожид до окончания школы и, едва получив аттестат, не слушая причитания родителей, с одним чемоданом (банально, но жизненно) отправился к сестре и зятю в Питер.

У них каждое утро варился на плите хороший кофе — его запах и вкус придавали смысл даже самому свинцовому и промозглому утру. Мы пили этот кофе, болтая о том о сём, Настя иногда в шутку мне гадала, её научили тётеньки, с которыми она работала в кафе. Нужно кофе выпить почти до дна, крутануть чашку, чтобы осадок сел на стенку, перевернуть «от себя» и подождать. Настя брала чашку и, заглядывая в неё, начинала рассказывать, что в близкой дороге меня ждёт радость, опасаться нужно лысого мужчину, а вот деньги будут ещё нескоро. Мы смеялись над этими гаданиями, но до зарплаты мне действительно оставалось две недели, а сосед снизу Пётр Семёнович, который жаловался, будто я стучу по ночам молотком, был и правда лыс, как яйцо.

Как-то вскользь Настя проговорила, что получила письмо от родителей — оказывается, они писали ей до востребования: узнав, что она не списала под забором (это постоянно говорилось мне в назидание), что не стоит по вечерам возле Московского вокзала и не лежит в морге Мариинской больницы, прислали вежливое письмо с рассказом, как трудно стало жить, папин завод на грани закрытия, а маме уже полгода не платят зарплату, страна пропала, и всё очень плохо. Настя ответила таким же вежливым письмом — но и только. Как трудно стало жить, она и сама знала не хуже.

Прошло время, пока я привёл её в то кафе, где она работала посудомойкой. Там давно уже сменился хозяин, всё было вообще другим—стало такое приличное и даже элегантно заведение, но память сердца, зараза этакая, ты сильнее рассудка памяти печальной: Настино лицо окаменело, когда нам предложили столик у окна,—она выбрала другой, подальше. Вот под тем столиком и были деньги: пусть они мне не принесли несчастья, но вспоминать не хочется. А мне как раз хотелось, чтобы именно здесь она сидела гостьей, а ей приносили кофе и пирожные. Смешная такая мальчишеская месть судьбе—Настя поняла всё правильно и оценила моё желание. Мы ели упоительно вкусный «наполеон», глядя одним глазом в телевизор на стене—там бесконечный воющий клип Муз-ТВ сменился какой-то говорильней о судьбах России, и Настино лицо снова окаменело. Это он, сказала Настя, кивнув на прилизанного хмыря, про которого было написано: «Эксперт

такой-то». Тот лейтенант Женя—он на волне демократических преобразований быстро дослужился до майора, скоро и подполковником станет, а там и приставку «под» можно будет убрать в титрах. Я всем давно всё простила, сказала Настя совсем тихо, а вот ему так и не могу. Так и не прощу. Я заказал ещё кофе и вслух пожелал Жене поскользнуться где-нибудь на гололёде по самый разрыв седьмого шейного позвонка. «Не надо,—ответила Настя.—С такими, как он, никогда ничего не случается».

Третья чашка лишней не будет, я уверен. Кофе тут что надо—чёрен, как ночь, сладок, как поцелуй. И крепок, как память. Переверну чашку, хоть и не умею гадать: мало ли что мне на гуще покажут? И друга в дальней дороге, и пустые хлопоты, и неожиданное известие, звезду и крест, разбитое сердце, сглаз и обман, любовь, предательство, надежду, измену, радостную новость, сон и смерть.

Всё то, что прячется на самом дне.